

Фёдор Михайлович Достоевский...

Вряд ли можно назвать другого писателя, чей художественный *вымысел* так безапелляционно и резко вторгается в живую жизнь, чьи невероятные по виду пророчества сбываются в *реальности* спустя многие десятилетия с железной и детальной обстоятельностью. Вопросы, с великой силой поднятые в литературе Достоевским, суть вопросы духа и совести—то есть главные вопросы для всякого искреннего людского сердца. Герои Достоевского всегда стоят на грани важнейшего выбора—между правдой и ложью, светом и тьмой, добром и злом.

Достоевский—реалист, но единственная реальность, которая его по-настоящему волнует,—это реальность *духовная*, реальность не видимой плотскими очами *внутренней жизни человеческого существа*; потому-то нам, людям, знающим о духовной жизни больше понаслышке, Достоевский зачастую представляется мистиком и даже фантастом. Но *всё видимое временно, невидимое—вечно* (2Кор. 4:18), мог бы повторить Достоевский вслед за апостолом и святыми отцами Православной Церкви.

Для всякого исследователя художественного творчества очевидно, что масштаб художника определяется прежде всего масштабом тех вопросов и тем, которые его волнуют. Достоевский никогда не брался за *неглавные* темы. Точнее сказать, под его пером любая тема обыденной повседневной жизни становилась главной. В каждом *частном* случае он как никто другой умел увидеть и вскрыть общий смысл происходящего, перипетии главной битвы российского и общемирового исторического процесса—битвы между верой и апостасией, Христом и Велиаром.

Для русского, российского сердца Достоевский особенно близок. Ведь именно тема русского, русскости, тема России была сквозной темой его творчества, а русская боль была его вечной болью. Вместе с тем Достоевский никогда, даже в малейшей степени, не был писателем-этнографом, воспевающим русские сарафаны и хороводы, не был и писателем-«народником», превозносящим народный быт и обычаи во что бы то ни стало. Наоборот, к народу, к его духовной действительности писатель подходил строго, не делая скидок,

с теми же нравственными принципами, которым следовал в своей личной жизни.

Эта масштабность творчества Достоевского предопределила громадную и бесспорную славу русского писателя. За сто с лишним лет, прошедших со дня его кончины, о нём написаны сотни книг, тысячи статей. О нём, конечно же, будут писать и впредь, до тех самых пор, пока людскому обществу, хотя бы в малой своей части, удастся сохранить человеческий облик.

И, однако, несмотря на громадное, почти необъятное количество критической литературы о Достоевском, существует тема, до сих пор очень скупой, невнятной и противоречиво освещаемая исследователями его творчества. Тема эта—«Достоевский и Православие», или, определённое и конкретнее, «Достоевский и Церковь». Да, в отношениях между Достоевским-художником и Православной Церковью есть не то чтобы противоречивость и несовместимость, но—недоговорённость и неясность каких-то вопросов.

Это проявляется, прежде всего, в частных оценках его личности и творчества со стороны известных в церковной истории людей. Действительно, с одной стороны, мы слышим искренние, идущие из глубины сердца слова православных русских священников и архиереев, современников писателя, служивших панихиды «по нашему великому писателю и благочестивому христианину Фёдору Михайловичу Достоевскому»; с другой стороны, читаем в книге православного мыслителя Константина Леонтьева «Наши новые христиане» обвинения Достоевскому в придуманном им «розовом христианстве», в неправдоподобии образа русского православного монашества, нарисованного писателем в последнем, итоговом его романе «Братья Карамазовы».

В двадцатом веке мнение Леонтьева привыкли упоминать как курьёзное—и не более того. Даже такой известный православный критик творчества Достоевского, как митрополит Антоний (Храповицкий), упоминая об оценке Леонтьева, объяснял её «нежеланием понять нашего великого писателя крайне правыми элементами нашей литературы». Однако сегодня определение «правый» для настоящего *православного* сознания вовсе

не является ругательной оценкой. А обвинение в «нежелании понять» требует, по крайней мере, обоснованных доказательств. Поэтому подобное положение недоговорённости и невяtnости в таком серьёзнейшем вопросе, как «Достоевский и Церковь», сегодня ненормально и неприемлемо.

Не претендуя, конечно же, на окончательное решение вопроса такого масштаба, попытаемся обозначить те ориентиры, которые необходимы для оценки творчества Фёдора Михайловича Достоевского с православно-церковной точки зрения.

1. Судьба

Для верующего человека художественное творчество, каким бы выдающимся оно ни было, никогда не может иметь абсолютной, самодовлеющей ценности. Не художественные образы писателя идут после его смерти и частного суда на мытарствах в райские кущи или в бездну адскую, а он сам, его личность, лицо, его душа. Поэтому любая попытка понять и узнать писателя предполагает прежде всего попытку понять и узнать в нём человека, узнать его судьбу.

Достоевский родился в 1821 году в Москве, в семье врача, в квартире Мариинской больницы для бедных, известной больше под именем Boжедницы.

В роду Достоевских, известном с шестнадцатого века, были помещики и монахи, воины и епископы. Дед писателя был священником в Подольской губернии.

Такие качества маленького Феди, как душевная ранимость, сердечное участие к чужому страданию, горячность характера, тяга к чудесному и религиозное настроение, обращали на себя внимание окружающих. В той жизни, которой жили Достоевские, не было недостатка в страданиях, а значит, требовалось постоянное самоограничение ради других. Вот только один характерный случай. Когда сгорело крепостное село Достоевских, купленное отцом писателя после присвоения роду потомственного дворянства, Достоевские пожертвовали все свои деньги в помощь крестьянам-погорельцам. На таких примерах и рос будущий писатель. Уже первая его повесть, принёсшая ему недолгую, но громкую литературную известность, называлась «Бедные люди» и органичным образом вытекала из переживаний детства и юности.

С самой ранней юности главной книгой Достоевского стало Евангелие. Короткая дружба с Белинским не поколебала основной любви писателя — ко Христу. Вот как вспоминал позднее о том времени Достоевский в «Дневнике писателя»:

«В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком, так и ступеался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-ет! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперёд по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, Он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошёл за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французы...»

Участие в кружке Петрашевского было, конечно, наиболее леворадикальным и революционным периодом в биографии Достоевского, но паразитично, что, даже будучи заговорщиком, писатель ни на миг не отшатнулся от своего главного Идеала. Перед казнью, когда шли последние к ней приготовления, Достоевский, по воспоминаниям князя Ф. Львова, подошёл к Спешневу, своему соучастнику-петрашевцу, и сказал: «Мы будем вместе с Христом!» — «Горстью пепла», — ответил Спешнев.

В этом коротком диалоге замечательны и характерны обе фразы. Достоевский верил, что, участвуя в тайном обществе с целью освобождения крестьян, он делает Христово дело. Спешнев же, возможно, помимо своей воли сказал слова, для заговорщиков почти пророческие: умри бунтовщики в тот момент, не раскаявшись в своём преступлении, они наверняка стали бы для Христа лишь «горстью пепла».

Но жизнь их была продлена. Годы каторги стали для писателя годами великого духовного переворота: узнав, приняв и по-настоящему глубоко и искренне полюбив русский народ, он узнал и принял почти тысячелетнюю веру своего народа — Православие.

Вместе с тем каторга не подавила, а, наоборот, развила в нём его главные качества — сострадание, милосердие, любовь.

«Снисходительность Фёдора Михайловича к людям была как бы не от мира сего, — вспоминал о годах сибирской ссылки Достоевского после каторги его друг барон А. Врангель. — Всё забытое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нём особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим

его... Он человек весьма набожный, болезненный, но воли железной...»

Впрочем, в этот период ещё не произошло полного воцерковления Достоевского. По воспоминаниям того же Врангеля, Достоевский «был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом».

Женитьба Достоевского на М. Д. Исаевой, случившаяся зимой 1857 года (он был тогда ещё ссыльным), основана во многом на тех же человеческих посылках: сострадании, желании спасти, пожертвовать собой. Правда, пожертвовать собой «ради счастья любимой женщины», в сущности, его не любившей. Этот максимализм воли при достижении достаточно фантастичной цели — тоже одна из характерных черт личности Достоевского. Брак этот, продолжавшийся семь лет, не принёс покоя и счастья, зато на всю жизнь Достоевский получил новую тяжкую ношу в виде пасынка Павла — фата, лодыря и лжеца, требовавшего от отчима только одного — денег.

Кстати сказать, до конца жизни нёс Фёдор Михайлович и ещё одну нелёгкую финансовую ношу: фактически содержал многочисленное семейство Михаила Михайловича Достоевского — своего рано умершего старшего брата. При этом надо отметить, что и пасынок Павел, и семейство брата эти жертвы Достоевского, имевшего уже и свою немалую семью и постоянно жившего в недостатке, воспринимали как должное, как его обязанность перед ними.

Подобно каждому человеку, Достоевский был обуреваем в жизни различными страстями: ревностью, например, или страстью к рулетке во время заграничной жизни, но нёс он при этом долгие десятилетия, начиная с Сибири, тяжелейший физический недуг — эпилепсию.

Достоевский умер христианской смертью. Вот как вспоминает об этом жена писателя Анна Григорьевна Достоевская:

«Когда доктор стал осматривать и выстукивать грудь больного, с ним повторилось кровотечение, и на этот раз столь сильное, что Фёдор Михайлович потерял сознание. Когда его привели в себя — первые слова его, обращённые ко мне, были: — Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься!»

Хотя доктор стал уверять, что опасности особенной нет, но, чтоб успокоить больного, я исполнила его желание. Мы жили вблизи Владимирской церкви, и приглашённый священник, о. Мегорский, чрез полчаса был уже у нас. Фёдор Михайлович спокойно и добродушно встретил батюшку, долго исповедовался и причастился. Когда священник ушёл и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Фёдора Михайловича с принятием Святых Таин, то он благословил меня и детей, просил

их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Фёдор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чём-нибудь огорчил меня...

...Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после четырёхнадцати лет брачной жизни:

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно...»

Похороны Достоевского вылились в удивительную демонстрацию христианского чувства со стороны неверующей, казалось бы, молодежи. Тысячи людей, провозгласивших его, пели: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!» Множество задушевных речей было произнесено на отпевании Достоевского и панихидах по нему. Вот одно из таких слов, сказанное священником И. Петропавловским:

«Кто такой Фёдор Михайлович? Не титулованная, не знатная государственная особа, а просто человек и христианин. Христианин! В этом загадка тайны его духа.

Мы высоко чтим его. Чем же приобретены им это уважение, этот почёт? Не восхождением в верхние сферы государственной жизни, а нисхождением в нижние слоёв народной жизни, служением человечеству. Это — бедный и самоотверженный труженик, много поработавший на благо человечества вверенными ему от Бога талантами; это глубоко верующий христианин, муж Креста Христова... Весь путь его жизни был усеян терниями. Чаша жизненных скорбей и невзгод испита была им до дна; но она не огорчила его сердца и только разожгла в нём огонь святой любви к своему народу, ко всему человечеству. И он был истинный сын своего народа, друг всего человечества.

Он открыл нам нашу народную жизнь в её самых низших, отверженных слоях и здесь вместе со страшными душевными язвами нашёл и указал нам в душе человеческой ту блестящую искорку, по которой мы все сродны своему Творцу, Отцу светов...

Богатое содержание его духа нелегко приобретено им: оно выстрадано им, вышло из горнила мучительных ощущений его сердца. Высокое ли — мы не знаем, близкое ли — не предскажем, но, несомненно, он — подобие праведника».

Кончина Достоевского была кончиной воистину «безболезненной, непостыдной, мирной» — такой кончиной, какую Церковь просит в своих молитвах ко Господу для всех своих верных чад.

II. Творчество

Начиная с «Записок из Мёртвого дома» (1861–1862), вернувшись Достоевскому угасшую было в связи с арестом и ссылкой его прежнюю громкую

литературную известность, всякое новое крупное произведение писателя оказывалось в эпицентре литературной и общественной борьбы того времени. Но если «Записки из Мёртвого дома» имели всё-таки более социальное и публицистическое значение, то «Преступление и наказание» (1866), первый великий художественный роман Достоевского, поднимал впрямую уже вопросы духовно-нравственного порядка. Именно с «Преступления и наказания» Достоевский становится, в силу своих выстраданных жизнью убеждений, одним из тех, кто сознательно противостоит в общественной жизни России ширящемуся либерально-демократическому «нравственному прогрессу», ведущему Россию к будущей катастрофе.

В своих набросках к роману писатель записывает:

«Православное воззрение, в чём есть Православие. Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом,— есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания.

Человек не рождается для счастья. Человек заслуживает своё счастье, и всегда страданием...»

В этих же набросках формулирует Достоевский и своё понимание социализма:

«Главная мысль социализма—это *механизм*. Там человек делается человеком механикой. В всё правила. Сам человек устраняется. Душу живую отняли».

Именно с отнятием у человека его живой души писатель и не собирался мириться.

Главная мысль романа «Преступление и наказание» проста и ясна. Она есть воплощение шестой заповеди Божией: «Не убий». Но мало было бы пользы от этого благонамеренного стремления, если бы писатель просто декларировал в очередной раз одну из заповедей Божиих. Сила его великого художественного таланта именно в том, что он показывает читателю неотвратимость расплаты за содеянное зло, *свидетельствует* об этой неотвратимости. Именно потому, что и сам Раскольников тоже имеет живую душу (хотя бы он и пытался вообразить себя холодным и рассудительным *механизмом*), он несёт в себе самом наказание за своё преступление. Потому что, как говорит Христуллиан, «душа человеческая— по природе христианка» и не терпит духовного насилия над собой.

Впрочем, Достоевский-мыслитель не мог, конечно, остановиться на идее возмездия, пусть даже вполне заслуженного человеком. Если в мире есть только справедливость, но нет милосердия, то такой мир никогда не удовлетворит Достоевского. Добавим от себя: в таком *справедливом* мире живой человек попросту задохнётся от холодности, механистичности, нелюбви людей друг к другу.

Вопль о нашем милосердии к «униженным и оскорблённым», ко всем «бедным людям» проходит сквозной темой в творчестве писателя. Но мало ему и этого. Как воскрес Христос, так может воскреснуть и каждая душа человеческая— воскреснуть, восстать из состояния своей греховной падшести. И без этого-то воскресения нет веры Достоевского; вернее—эта возможность воскресения любой человеческой души, как бы глубоко она ни пала, и является *основой* его веры.

«Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к её ногам. Он плакал и обнимал её колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и всё лицо её помертвело.

Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она всё поняла. В глазах её засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для неё уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит её и что настала же, наконец, эта минута...

Они хотели было говорить, но не могли. Слёзы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновлённого будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось ещё семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она—она ведь и жила только одною его жизнью!

Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припоминал теперь это, но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь всё измениться?...»

«Преступление и наказание»— может быть, самый стройный и художественно совершенный роман Достоевского. Его построение роднит его с классической трагедией, но трагедией не античной, а пронизанной светом христианской веры в обновление и воскресение человека. Другая причина художественной гармоничности романа, вероятнее всего, в том, что автор ещё не ставил в этом произведении задачи, почти непосильной для искусства,— задачи изобразить «положительно-прекрасного» человека.

Именно такая задача была поставлена Достоевским в романе «Идиот». Образ главного героя кристаллизовался постепенно. В начале своих раздумий Достоевский делает такие черновые наброски:

«Главная черта в характере Князя:

забитость,
испуганность,
приниженность,
смирение.

Полное убеждение про себя, что он *идиот*».

«Князь говорит про людей грешных: все большие, за ними уход нужен...»

«Смирение—величайшая сила».

«Чем сделать лицо героя симпатичным читателю? Если Дон Кихот и Пиквик как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны.

Герой романа Князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он *невинен!*»

И наконец, Достоевский записывает несколько раз в течение одного дня, десятого апреля 1865 года: «Князь—Христос»...

Как видим, задача была поставлена действительно грандиозная. Была ли она выполнена?

Бесспорно, роман «Идиот» никак нельзя назвать творческой неудачей писателя. Изображение борений человеческой души со своими страстями, как всегда у Достоевского, пронзительно и глубоко. Но прекрасный человек, человек *смиранный*, вовлечённый в вихрь и водоворот этих страстей, окончательно гибнет, сходя с ума. Таким образом, *житейское море, воздвигаемое напастей бурей*, топит в своей пучине того, кто, по замыслу писателя, должен был стать если не равновеликим, то *подобным Христу*. Этот важный симптом в творчестве Достоевского разовьётся в дальнейшем и станет камнем преткновения для многих читателей и критиков писателя. Пока же только отметим этот симптом про себя.

Роман «Бесы», опубликованный в 1871–1872 годах, окончательно привёл Достоевского в лагерь «революционеров». Либерально-демократические и социалистические террористы от литературы, порицавшие писателя уже за образ Раскольникова, в коем они не увидели достаточно пиетета и преклонения перед «молодым (нигилистическим) поколением», зато обнаружили «клевету на русского революционера», после «Бесов» изощряются в своём остроумии по поводу *отсталости* Достоевского.

Д. Минаев, например, соединяя в своей рецензии имена Достоевского и Лескова (у последнего недавно был опубликован антинигилистический роман «На ножах»), пишет, что оба писателя «до такой степени *окатковились*, что в новейших романах слились в какой-то единый тип, в гомункула, родившегося в знаменитой чернильнице редактора „Московских ведомостей“ (М. Н. Каткова.— В. М.), в одно творение Лескова—Достоевского—Стебницкого „Бесы—На ножах“».

В подобном же издевательском духе писались и другие «революционные» рецензии. Роман «Бесы»

в левой критике приобрёл навсегда ярлык произведения одиозного, клеветнического, «реакционного», художественной неудачи Достоевского. Этим критикам не было дела до того, что как раз в эти недели и месяцы, когда писался и публиковался роман, в Москве слушалось «дело Нечаева», во многом перекликавшееся с сюжетом «Бесов». А многое, тогда ещё неизвестное, Достоевский попросту угадывал, основываясь на глубоком понимании «психологии революционера».

Но главная заслуга писателя была в том, что он своим романом срывал с заговорщиков-революционеров привлекательную маску благородных деятелей «во имя свободы и прогресса», показывая читателям подлинную личину этих разрушителей веры и нравственности, этих бесподобных палачей человечества. За полвека до российской революции он увидел всю беспощадность той борьбы, которая развернётся на русской земле в начале двадцатого века. Увидел—и сказал об этом миру.

Сейчас мы знаем, что если Достоевский и ошибся в изображении революционеров, то совсем не той ошибкой, в которой его обвиняли. Действительность оказалась ещё страшнее и кровавее, а революционное беснование с такой силой охватило Россию, что отрезвление от кошмара растянулось на долгие десятилетия.

Впрочем, иной реакции, кроме хулы, от «освободителей» на свой роман писатель не ждал. В письме наследнику престола Александру Александровичу (будущему императору Александру III) от десятого февраля 1873 года Достоевский пишет:

«Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так „высокомерны“ в своём самомнении, и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и *высокомерно* самостоятельными».

Так думать у нас теперь и высказывать такие мысли—значит обречь себя на роль пария. А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если бы им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моём».

Но, помимо пророчески-верной духовной анатомии всего российского революционного движения, в «Бесах» Достоевский попытался создать нечто и принципиально новое для себя. Это был первый роман писателя, в котором «на сцене» должен был появиться русский инок Тихон как духовный и нравственный судья Николая Ставрогина.

Каким же видел в это время Достоевский русского монаха-старца?

«...Проживавший на покое архиерей, по слабости ли характера или „по непростительной и несвойственной его сану рассеянности“, не сумел внушить к себе, в самом монастыре, особого уважения».

«Библиотека тоже, говорили, была составлена слишком уж многообразно и противоположно: рядом с сочинениями великих святителей и подвижников христианства находились сочинения театральные, а может быть, ещё и хуже...»

«(Ставрогина) разбудила тишина, и ему вдруг показалось, что Тихон как будто стыдливо потупляет глаза и даже с какой-то ненужной смешной улыбкой».

«— Креста Твоего, Господи, да не постыжуся,— почти прошептал Тихон, каким-то страстным шёпотом и склоняя ещё более голову. Уголки губ его вдруг задвигались нервно и быстро».

Прочитав страшную исповедь Ставрогина о растлении им малолетней девочки, «Тихон снял очки и начал первый, с некоторою осторожностью. — А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?

— Зачем? Я писал искренно,— ответил Ставрогин. — Немного бы в слог».

«Я вам радостную весть за сие скажу,— с умилением промолвил Тихон,— и Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе... О нет, нет, не верьте, я хулу сказал: если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за намерение и страдание ваше великое...»

Угли губ его задёрнулись, как давеча, и едва заметная судорога опять прошла по лицу».

В финале, когда Тихон предсказывает Ставрогину новое преступление, Ставрогин, лишь бы только не обнародовать свою печатную исповедь, вызывает его «проклятым психологом» и уходит прочь...

В сущности, определение «психолог» имеет основания. Достоевский явно считает главным качеством Тихона его психологическую проницательность, наделяя его при этом нервностью, чувствительностью, душевной утончённостью. Но суть старчества совсем в другом: старец — не проницательный психолог, а *духовный* руководитель, имеющий *власть* и *силу*. Это понимание явно не даётся Достоевскому, оттого-то и встреча Ставрогина с Тихоном кончается, в сущности, безрезультатно.

Немаловажная деталь: писатель называет Тихона несколько раз архиереем (хотя в жизни конкретного человека мы и называем конкретно — епископ, митрополит) и даже святителем (так Церковь называет уже прославленных святых из архиереев после их смерти), и в то же время Ставрогин обращается к нему «отец Тихон» — как к рядовому священнику.

Совершенно очевидно, что во время работы над «Бесами» писатель ещё очень поверхностно представлял себе монастырскую и вообще церковную жизнь. Поэтому издатель (напомним, им был М. Н. Катков) сослужил Достоевскому хорошую службу, не согласившись включить главу «У Тихона» в окончательный текст романа.

Следующий роман, «Подросток», некоторые исследователи литературы определяют как своеобразный воспитательный роман. Сюжет его состоит в развенчании идеи Подростка «стать Ротшильдом» и с помощью громадного богатства «повелевать миром». Есть в романе и герой-верующий. Это бывший крепостной Макара Иванович Долгорукий, названный отец Подростка. Он странствует по многочисленным русским монастырям, проповедует покаяние и произносит незадолго до своей смерти слова, наполненные глубокой верой в человека: «Безбожника... я, может, и теперь побоюсь; только вот что: безбожника-то я совсем не встречал ни разу, а встречал заместо его светливого...»

Но время написания и публикации «Подростка» было и временем подготовки Достоевского к работе над своей главной книгой — романом «Братья Карамазовы».

Именно «Братья Карамазовы» — этот последний и итоговый (хотя, в сущности, написанный лишь наполовину) роман Достоевского — и вызвали главные споры в вопросе о мировоззрении писателя. Тема веры и неверия, вины и ответственности, свободы и рабства человека решается здесь на многих уровнях и планах. В этом последнем романе писатель, как и прежде, демонстрирует глубокое проникновение в душу каждого из своих героев, вскрывает подлинные, а не мнимые мотивы их поступков.

Вновь, как и в «Преступлении и наказании», возникает вопрос о *возможности* преступления, о разрешении преступления *по совести*. Конфликт обостряется тем, что на этот раз в виде жертвы выступает Фёдор Карамазов — человек в высшей степени развращённый, циничный, отвратительный, но — отец.

Братья Карамазовы несут на себе тяжкий крест — карамазовскую натуру. А она, как говорит на суде прокурор, безудержна: ей нужно одновременно и ощущение низости падения, и ощущение высшего благородства. «Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы всё вместим и со всем уживёмся!»

Но тема ответственности за преступление решается Достоевским в «Карамазовых» на ином, если можно так сказать, *более евангельском* уровне, чем в «Преступлении и наказании». Автором судится не только и не столько сам поступок, сколько

мысль, желание. Непосредственный убийца Смердяков, незаконнорождённый брат Дмитрия, Ивана и Алёши, поднявший руку на своего отца, в сущности, даже не предстает перед судом. Он осуждён уже заранее, изначально, потому-то и кончает жизнь, как Иуда,— в петле. Перед судом предстают Иван и Дмитрий как *желатели* и идейные вдохновители убийства: Иван — как свидетель, Дмитрий — как обвиняемый и приговорённый. Ибо подлинному суду подлежат не только дела, но и помыслы человеческие.

Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьёт, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной (Мф. 5:21–22).

Но роман, как и всегда у Достоевского, говорит ещё и об очищающей силе страдания. И Митя, приговорённый к каторге *юридически* безвинно, осознаёт, что *духовная* его вина перед убитым отцом неоспорима и что именно за эту невидимую миру вину наказывает его Господь видимым образом.

И хотя роман обрывается как бы на полуслове планами брата Ивана и Катерины Ивановны освободить Митю с этапа и вместе с Грушей отправить в Америку, читатель явственно ощущает, что этим светливым и мелким планам не суждено будет сбыться. Да и слишком уж русский человек Митя Карамазов, чтобы найти своё счастье в Америке. «Ненавижу я эту Америку уже теперь!.. Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец!» — говорит он брату на свидании после суда.

И действительно, бежать с каторги Мите Карамазову было не суждено. Во второй, ненаписанной, части романа, по воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской, «действие переносилось в восьмидесяте годы. Алёша уже являлся не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой, Митя же возвращался с каторги».

По сути дела, именно Митя Карамазов является героем, сознательно приносящим себя в жертву. Или, во всяком случае, сознательно *соглашающимся* на такую жертву, сознательно идущим по пути искупления собственного греха и греха своих братьев. По нашему мнению, именно в образе Мити Карамазова воплощена в романе с наибольшей полнотой и мощью христианская тема.

Но писатель не ограничился этим образом для проведения в «Братьях Карамазовых» своих христианских идей. Полноправным героем романа, впервые в творчестве писателя, выступает православный монах и — шире — православный монастырь.

III. Учение

Именно в характерах людей верующих (и исповедующих сознательно свою веру) Достоевский

воплощает систему своих христианских взглядов, которую, хотя и с оговорками, можно назвать его учением. Главный образ, важный для понимания этих взглядов, — конечно, старец Зосима.

В главе «Старцы» автор, кратко пересказав историю старчества в России и подытожив, что ныне, несмотря на гонения, старчество утвердилось и водворяется по русским монастырям, вдруг добавляет:

«Правда, пожалуй, и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в обоюдоострое орудие, так что много, пожалуй, приведёт вместо смирения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе».

Что это за фраза, и в чём её смысл? Как старческое руководство может привести к сатанинской гордости, если это — духовное учреждение, богоустановленное именно для спасения человеческой души от потемнения гордыней?

Что такое эта фраза (кстати, достаточно неуклюжая и сама по себе, в литературном смысле)? Признак неверия самого Достоевского в старчество как благодатное явление или боязливый экивок *на всякий случай* для неверующих? Или же это — привычный для мастера психологический *парадокс*, которым он хочет удивить читателя? Но в любом случае такая фраза не может произвести доброго впечатления на церковного человека именно благодаря своему лукавству.

А фраза эта в романе неслучайна. Ниже прочитаем страницу рассуждений автора о кликушах-бесноватых, которых ему поначалу характеризовали как «притворщиц, чтобы не работать». «Но впоследствии, — пишет Достоевский, — я с удивлением узнал от специалистов-медиков (очевидно, это и есть высшие авторитеты в духовной сфере? — В. М.), что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь... происходящая от изнурительных работ слишком вскоре после тяжёлых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов...»

Такие *медицинские* объяснения сложных духовных явлений тоже, конечно, не могут вызвать сочувствия у человека верующего.

Вот в описаниях монастыря мы находим портрет отца Ферапонта, монаха-отшельника, живущего строгим постником. Он «видит чертей», окружающих монастырских монахов, осуждает старчество и отца Зосиму, ненавидит (в буквальном смысле слова) всех мирских. А вот каково рассуждение отца Ферапонта о посте:

«Я-то от их хлеба (то есть монастырского. — В. М.) уйду, не нуждаясь в нём вовсе, хотя бы и в лес, и там груздем проживу или ягодой, а они

здесь не уйдут от своего хлеба, стало быть, чёрту связыны».

Такой уровень мысли и такое понимание сути поста говорят, конечно, об одном: мы видим перед собой карикатуру. Карикатурна и сцена скандала отца Ферапонта над гробом старца Зосимы, от тела которого «раньше естественного времени» пошёл почему-то тлетворный дух. Но почему единственный отшельник, нарисованный Достоевским, карикатурен? Неужели только потому, что путь отшельничества писатель не понимал и отвергал?

Однако, повторяем, центральное место в интересующей нас теме занимает образ самого старца Зосимы.

Есть в шестой книге романа, посвящённой целиком старцу и называющейся «Русский инок», бесспорно прекрасные страницы. Это, например, описание смерти Маркела — старшего брата будущего старца Зосимы. Его покаянное чувство перед смертью, его ощущение вины перед близкими людьми, перед слугами, даже перед птичками Божиими умиляет и размягчает сердце читателя.

Но в целом образ Зосимы, конечно же, слишком далёк от известного каждому верующему образу православного старца. Вот как писал Константин Леонтьев об этой теме романа в своей статье «О всемирной любви»:

«В романе „Братья Карамазовы“ весьма значительную роль играют православные монахи; автор относится к ним с любовью и глубоким уважением... Старцу Зосиме присвоен даже мистический дар „прозорливости“... Правда, и в „Братьях Карамазовых“ монахи говорят не совсем то, или, точнее выражаясь, *совсем не то*, что в действительности говорят *очень хорошие* монахи и у нас, на Афонской горе... Правда, и тут как-то мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна... *Отшельник и строгий постник* Ферапонт, мало до людей касающийся, почему-то изображён неблагоприятно и насмешливо... *От тела* скончавшегося старца Зосимы для чего-то исходит *тлетворный дух*... У господина Достоевского и в этом романе *собственно мистические* чувства всё-таки выражены слабо, а чувства *гуманитарной идеализации* даже в речах иноков выражаются весьма пламенно и пространно...»

Позднее в своих воспоминаниях Леонтьев писал: «Считать „Братьев Карамазовых“ православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным Православием, с христианством святых отцов и старцев афонских и оптинских».

Снова, как и в предыдущей попытке («Бесы», глава «У Тихона») изобразить православного старца-руководителя, Достоевскому явно не хватило понимания сути духовной власти и духовной силы. В заповедях старца Зосимы, оставленных им своим ученикам, есть такие слова:

«Перед иной мыслью встанешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: „Взять ли силой али смиренной любовью?“ Всегда решай: „Возьму смиренно любовью“. Решишься так раз навсегда и весь мир покорить сможешь».

В этой мысли есть некоторое недоразумение: какая сила тут подразумевается? Ведь не физическая же? Так значит, духовная! Но именно духовная сила есть главнейший признак духовной власти старца, даруемой ему самим Богом.

«Старец» Достоевского слишком восторжен по любому поводу, слишком занят пониманием мира и людской психологии, он даже как бы несколько душевно расслаблен. Перед смертью самым главным своим делом он почему-то считает ещё раз увидеться и побеседовать с ближайшими монахами: «Не умру, прежде чем ещё раз не упьюсь беседой с вами, возлюбленные сердца моего, на милые лики ваши погляжу, душу мою вам ещё раз изолью».

Как не похоже это на жития православных святых, великих подвижников, даже перед смертью считавших себя недостойными спасения и думающих о покаянии! Да и разве может любой из живших на земле (кроме самых редких святых) быть абсолютно уверен, что жизнью своей совершенно угодил Богу и заслужил Его милость? И хотя Достоевский, вместе с В. С. Соловьёвым, специально ездил в Оптину к старцу Амвросию, чтобы набраться реальных впечатлений о монашестве, эти впечатления, видимо, были слишком кратки и поверхностны, чтобы стать основой положительного учения.

Ошибка писателя в том, что из двух главнейших ипостасей Божия отношения к нам, грешным людям, — милосердия и правосудия — Достоевский абсолютизирует милосердие, как бы *забывая* о правосудии Божиим, о Божией правде, без которой, как и без милосердия, не может стоять мир.

Старцу Зосиме (а значит, и Достоевскому) можно с полным основанием возразить, что наглые *нераскаянные* преступления (которыми в наше время переполнен мир) не могут быть покрываемы милосердием Божиим бесконечно: рано или поздно должно наступить правосудие. Божия любовь к человеку *требуема* — но об этом никогда не говорил Достоевский.

Есть в романе и ещё одна характерная черта: писатель как бы стыдится исповедать реальное существование бесов. «Чёрт», приходящий к Ивану Карамазову, является плодом его болезненного воображения. Опять всё объясняется психологией, и эта абсолютизация психологии тоже наносит немалый вред роману и его создателю. Духовная жизнь и психология человека — области вовсе не равнозначные и часто даже не сопрягающиеся. Во всяком случае, духовные события не могут быть объяснены на психологическом уровне, такое

«объяснение» есть профанация духовной жизни, и это известно каждому верующему человеку.

Достоевский не создал в своих книгах положительного православного учения. Точнее сказать, не выразил его так, как само учение давно уже создано и хранится Церковью. Образы монахов традиционно не удавались писателю—он всё-таки недостаточно для этого знал и понимал строй монастырской жизни. И мы, его православные читатели, об этом сожалеем.

Но, к счастью, эти естественные несовершенства всякого человеческого труда—не главное в творчестве Достоевского. Это—лишь отдельные и досадные, конечно, неудачи великого писателя. Впрочем, не только и не столько его. В таких конкретных неудачах отразилась вся глубина атеистической расслабленности девятнадцатого века, вся тяжесть накопленного российским образованным обществом неверия и самоуверенной, высокомерной наглости по отношению к Русской Церкви.

Но в каждом романе Достоевского есть герои, сознательно выбирающие страдание как путь к духовному воскресению, сознательно берущие свой крест и идущие за Христом. Эти люди знают, что в жертве ради ближнего есть великое счастье, что «блажен, кто душу свою положит за други своя».

Значит, эти люди имеют подлинно христианский опыт, как имел его сам писатель. И даже о «Братьях Карамазовых» нельзя повторить слова Константина Леонтьева с полным сердечным согласием: нет, это всё-таки православный роман, хотя и не в той своей части, которую полагал особенно православной сам Достоевский.

Сострадание к брату, милосердие, любовь, умение даже в падшем человеке увидеть непомутнённый и сияющий образ Божий—это и есть для нас подлинные уроки Достоевского-писателя, Достоевского-христианина, Достоевского—сына Русской Православной Церкви. И значение этих уроков непреходяще для русского ума и русского сердца.

Не забудем же мы и того впечатления, которое вынес из встречи с Фёдором Михайловичем батюшка Амвросий. После того как писатель покинул его келью, старец сказал о нём своим приближённым: «Этот—кающийся».

И вслед за православным священником, современником Достоевского, служившим панихиду по новопреставленному рабу Божию Феодору, мы и сегодня можем повторить:

«Братья-христиане! В общем почитании усопшего соединимся в один дух и в одно сердце и будем просить у Господа вечной памяти почившему там, на Небе, и здесь, на земле. Аминь».